



*15 сентября*

Событие совершенно неожиданное. Мужа нашли убитым в его кабинете. Неизвестный убийца разбил Виктору череп гимнастической гирей, обычно лежащей на этажерке. Окровавленная гири валяется тут же на полу. Ящики стола взломаны. Когда к Виктору вошли, тело его было теплым. Убийство совершено под утро.

В доме какая-то недвижная суетня. Лидочка рыдает и ходит из комнаты в комнату. Няня все что-то хлопочет и никому не дает ничего делать. Прислуги считают долгом быть безмолвными. А когда я спросила кофе, на меня посмотрели как на клятвопреступницу. Боже мой! что за ряд мучительных дней предстоит!

Говорят: пришла полиция.

*В тот же день*

Кто только не терзал меня сегодня!

Чужие люди ходили по нашим комнатам, передвигали нашу мебель, писали на моем столе, на моей бумаге...

Был следователь, допрашивал всех, и меня в том числе. Это — господин с проседью, в очках, такой узкий, что похож на собственную тень. К каждой фразе прибавляет «тэк-с». Мне показалось, что он в убийстве подозревает меня.

— Сколько ваш муж хранил дома денег?

— Не знаю.

— Где был ваш муж вчера вечером перед возвращением домой?

— Не знаю.

— С кем ваш муж чаще встречался последнее время?

— Не знаю.

— Тэк-с.

Откуда я все это могла бы знать? В дела мужа я не вмешивалась. Мы старались жить так, чтобы друг другу не мешать.

Еще следователь спросил, подозреваю ли я кого.

Я ответила, что нет, — разве только политических врагов мужа. Виктор по убеждению был крайний правый, во время революции, когда бастовали фармацевты, он ходил работать в аптеку. Тогда же нам прислали анонимное письмо, в котором угрожали Виктора убить.

Моя догадка, кажется, разумная, но следователь непристойно покачал головой в знак сомнения. Он мне дал подписать мои ответы и сказал, что еще вызовет меня к себе, в свою камеру.

После следователя приехала мама.

Входя ко мне, она почла долгом вытирать глаза платком и раскрыть мне объятия. Пришлось сделать вид, что я в эти объятия падаю.

— Ах, Nathalie, какое ужасное происшествие.

— Да, татап, ужасное.

— Страшно подумать, как мы все близки от смерти. Человек иногда не предполагает, что живет свой последний день. Еще в воскресенье я видела Виктора Валериановича живым и здоровым!

Произнеся еще должное число восклицаний, татап перешла к делу.

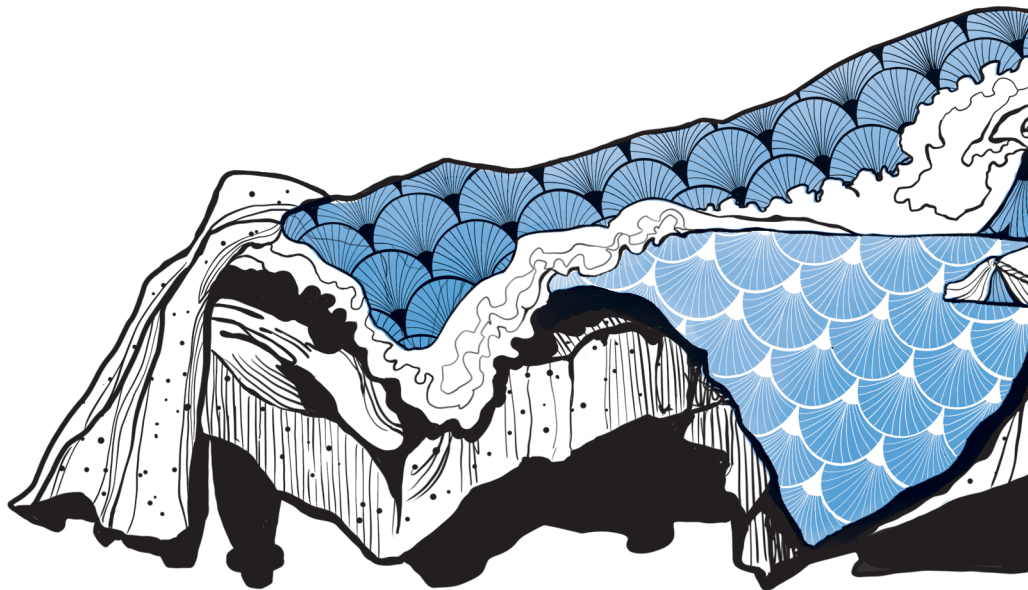
— Скажи мне, Nathalie, у вас должно быть хорошее состояние. Покойный зарабатывал не менее двадцати тысяч в год. Кроме того, в позапрошлом году он получил наследство от матери.

— Я ничего не знаю, татап. Я брала те деньги, которые мне давал Виктор на дом и на мои личные расходы, и больше ни во что не вмешивалась.

— Оставил покойный завещание?

— Не знаю.

— Почему же ты не спросила его? Первый долг порядочного человека — урегулировать свои денежные дела.





— Но, может быть, и завещать было нечего.

— Как так? Вы жили гораздо ниже своих средств. Куда же Виктор Валерианович мог расходовать суммы, поступавшие к нему?

— Может быть, у него была другая семья.

— Nathalie! Как можешь ты говорить так, когда тело покойного еще здесь, в доме!

Наконец, мне удалось дать понять маман, что я устала, совершенно изнемогаю. Маман опять стала вытирать глаза платком и на прощание сказала:

— Такие испытания нам посылаются небом как предостережение. О тебе дурно говорили последнее время, Nathalie. Теперь у тебя есть предлог изменить свое поведение и поставить себя в обществе иначе. Как мать, даю тебе совет воспользоваться этим.

Ах, из всего, что мне придется переживать в ближайšie дни, самое тяжкое — это визиты родственников и знакомых, которые будут являться, чтобы утешать и соболезновать. Но ведь «нельзя же нарушать установленные формы общежития», как сказала бы по этому поводу моя мать.

### *Еще в тот же день*

Поздно вечером приехал Модест. Я велела никого не принимать, но он вошел почти насильно, — или Глаша не посмела не впустить его.

Модест был, видимо, взволнован, говорил много и страстно. Мне его тон не понравился, да и я без того была замучена, и мы почти что поссорились.

Началось с того, что Модест заговорил со мною на «ты». В нашем доме мы никогда «ты» друг другу не говорили. Я сказала Модесту, что так пользоваться

смертью — неблагородно, что в смерти всегда есть тайна, а в тайне — святость. Потом Модест стал говорить, что теперь между нами нет более преграды и что мы можем открыто принадлежать друг другу.

Я возразила очень резко:

— Прежде всего я хочу принадлежать самой себе.

Под конец разговора Модест, совсем забывшись, стал чуть не кричать, что теперь или никогда я должна доказать свою любовь к нему, что он никогда не скрывал ненависти своей к моему мужу и многое другое, столь же ребяческое. Тогда я ему прямо напомнила, что уже поздно и что в этот день длить его визит совершенно неуместно.

Я достаточно знаю Модеста и видела, что, прощаясь со мной, он был в ярости. Щеки его были бледны, как у статуи, и это, в сочетании с пламенными глазами, делало его лицо без конца красивым. Мне хотелось расцеловать его тут же, но я сохранила строгий вид и холодно дала ему поцеловать руку.

Разумеется, наша размолвка не будет долгой; мы просто встретимся следующий раз, как если бы никакой ссоры не было. Есть в существе Модеста что-то для меня несказанно привлекательное, и я не сумею лучше определить это «что-то», как словами: ледяная огненность... Крайности темпераментов причудливо сливаются в его душе.





*18 сентября*

Три дня вспоминаю, как самый тягостный кошмар.

Следователь, судебный пристав, пристав из участка, соболезующие родственники, нотариус, похоронное бюро, поездки в банк, поездки к священнику, бессмысленные ожидания в приемных, не менее бессмысленные разговоры, чужие лица, отсутствие своего, свободного времени, — о, как бы поскорее забыть эти три дня!

Выяснились две вещи. Во-первых, додумались, что убийство было совершено из мести, так как муж дома денег никогда не хранил (теперь и я это вспомнила). К тому же и бумажник его, бывший у него в кармане, остался цел. Но как убийца проник к нам в квартиру, в бельэтаж, понять никак не могут.

Во-вторых, стало известным, что существует духовное завещание мужа. Ко мне приезжал нотариус, чтобы сообщить это. Он намекал, что главная наследница — я, и что предстоит мне получить не мало.

Похороны, ввиду вскрытия тела, отложены. Я предоставила всеми делами распорядиться дядюшке. Конечно, он наживет на этом деле не меньше, как тысячи полторы, но, право, это цена не дорогая за избавление от таких хлопот.

Модест не заезжал ко мне ни разу, но не обращусь же к нему я первой!

Зато я не отказала себе в маленьком развлечении и на час поехала к Володе.

Милый мальчик обрадовался мне страшно. Он стал предо мною на колени, целовал мне ноги, плакал, смеялся, лепетал.

— Я думал, — говорил он, — что не увижу тебя много, много дней. Какая ты добрая, что пришла. Так ты любишь меня на самом деле!

Я ему клялась, что люблю, и действительно любила в ту минуту за наивность его радости, за настоящие слезы в его глазах, за то, что весь он — слабый, тонкий, гибкий, как стебель.

Что-то давно я не была у Володи, и меня удивило, как он убрал свое помещение. Все у него теперь подобрано согласно с моим вкусом. Темные портьеры, строгая мебель, нигде никаких безделушек, гравюры с Рембрандта на стенах.

— Ты переменял мебель, — сказала я.

Он ответил, краснея:

— Прошлый раз, после твоего ухода, я опять нашел сто рублей. Я ведь дал слово, что не возьму себе ни копейки твоих денег. Я истратил их все на то, чтобы тебе было хорошо у меня.

Разве это не трогательно?





Конечно, и он заговорил о перемене в моей судьбе, но робко, сам пугаясь своих слов.

— Ты теперь свободна... Может быть, мы будем встречаться чаще.

— Глупый, — возразила я, — время ли думать об этом? Мой муж еще не похоронен.

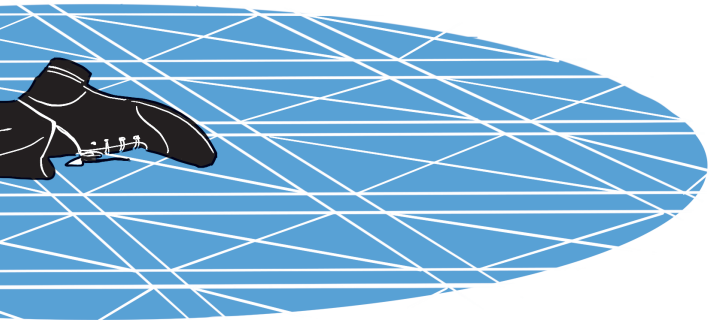
У Володи были припасены фрукты и ликер. Я села на диван, а он стал подле на колени, смотрел мне в глаза и говорил:

— Ты — прекрасна. Я не могу придумать лица красивее. Мне хочется целовать каждое твое движение. Ты пересоздала меня. Только узнав тебя, я научился видеть. Только полюбив тебя, я научился чувствовать. Я счастлив тем, что отдал себя тебе — совсем, безраздельно. Мое счастье в том, что все мои поступки, все мои мысли и желания, самая моя жизнь — зависят от тебя. Вне тебя — меня нет...

Такие слова нежат, как ласка любимой кошки с пушистой шерстью. Он говорил долго, я долго слушала. Детские интонации его голоса меня гипнотизировали, убаюкивали.

Вдруг я вспомнила, что пора ехать. Но Володя пришел в такое отчаяние, так умолял меня, так ломал руки, что я не в силах была ему отказать...

Быть может, дурно, что я изменяю праху моего мужа. У меня в душе осталось какое-то темное чувство неловкости. Я никогда не испытывала этого, изменяя живому. Есть таинственная власть у смерти.





*19 сентября*

Люблю ли я Володю?

Вряд ли. В нем мне нравится мое создание. Какой он был дикий, когда мы встретились с ним в Венеции! Он ни о чем не умел ни думать, ни говорить, кроме тех политических вопросов и дел, из-за которых ему пришлось укрываться за границей. Я в его душе угадала иной облик, совсем как скульптор, который угадывает свою статую в необделанной глыбе мрамора.

Ах, я много потрудилась над Володей! Положим, какое единственное было место для воспитания души: золото-мраморный лабиринт города Беллини и Сансовино, Тициана и Тинторетто! Мы вместе слушали с гондол майские «серенады», мы ездили в «дом сумасшедших», навсегда освященный именами Байрона и Шелли, мы, в темных церквах, могли вволю насыщать глаза красочными симфониями мастеров Ренессанса! А потом я читала Володе стихи Фета и Тютчева!

Говорят, можно видеть, как растет трава. Я воочию видела, как преображалась душа юноши и в то же время преображалось его лицо. Его чувства становились сложнее, его мысли — тоньше, но изменились и его речь, и его глаза, и его голос! До меня был «товарищ Петр» (как его звали «в партии»), неловкий, грубый; я создала Володю, моего Володю, утонченного, красивого, похожего на юношу с портрета Ван Дейка.

А потом! Ведь он мне сознался, — да и не трудно было догадаться, — что я была первая женщина, которой он отдался. Я взяла, я выпила его невинность. Я для него — символ женщины вообще; я для него — воплощение страсти. Любовь он может представлять лишь в моем образе. Одно мое приближение, веянье моих духов его опьяняет. Если я ему скажу: «пойди — убей» или «иди — умри», он исполнит, даже не думая.

Как же мне отдать кому-нибудь Володю? Он — мой, он — моя собственность, я его сделала и имею все права на него...

В нем я люблю опасность. Наша любовь — тот «поединок роковой», о котором говорит Тютчев. Еще не победил ни один из нас. Но я знаю, что *может* победить он. Тогда я буду его рабой. Это — страшно, и это — соблазняет, притягивает к себе, как пропасть. И стыдно уйти, потому что это было бы трусостью.

Модест для меня загадка, я не распутала еще нитей его души, да и распутал ли их кто-нибудь до конца? Как для него характерно, что он — художник, и сильный художник, — никогда не выставлял своих вещей. Ему довольно сознания, что после его смерти любители будут платить безумные деньги за его полотна и разыскивать каждый его карандашный набросок. Таков он

во всем: он довольствуется тем, что сам знает о себе, и ему не нужно, чтобы это знали о нем другие. Он действительно презирает людей, всех людей, может быть, и меня в том числе, хотя клянется мне в любви.

В Володе я люблю *его* любовь ко мне. В Модесте — возможность *моей* любви к нему. Только *возможность*, потому что я употребляю все усилия, чтобы эта любовь в моей душе не разгорелась.



